

Точнее, у Ливерганта будет еще Эпилог, но это уже не «Моменты бытия» (напомню титул книги), а... (простите рецензенту сей термин): «Ирония постбытия» Вирджинии Вулф:

Прежний владелец (особняка Вульфов), дабы придать весу себе, своим апартаментам, повесил на двери объявление следующего содержания: «Талланд-хаус. Здесь жила Вирджиния Вулф, жена известного прозаика».

Новые же хозяйева квартиры пожаловались Гермione Ли, автору восьмисотстраничного жизнеописания Вирджинии Вулф, что, когда они эту квартиру покупали, то «думать не думали об этой треклятой женщине». Однако со временем поняли, сколь опрометчиво поступили: «Войдешь в гостиную — а там американцы! Заглянешь в ванную — а там австралийцы!» Владельцам квартиры не позавидуешь: не зарастает народная тропа к «этой треклятой женщине», писавшей на таком английском языке, который «жжет страницы».

Блестяще! С долей литературного садизма надеюсь, что книга Ливерганта умножит жалобы домовладелицы: «Войдешь в кухню — а там русские!»

Игорь ШУМЕЙКО

МЕЖДУ ДОМОМ И ДОРОГОЙ

Вера Зубарева. Ангел на ветке. Повести, рассказы и записки из блога. М., ЭКСМО, 2019. — 190 с.

Ступает вкрадчивой походкой Вера Зубарева собственной лирической тропой, регулярно сбиваясь на прозу жизни, которая из-под ее пера выходит столь же поэтичной, пусть и нерифмованной. Неизбывным достоинством пронизано все, сошедшее с рабочего стола Веры, будь-то Дом с его чудными обитателями, непростые Дороги эмиграции, дивно очеловеченный перевертыш «Собакиады», фейный панегирик «Ольге Юрьевне», нумерологические тайны в поэзии Беллы Ахмадулиной, грандиозный ангельский трактат, рассказ-притча «Лизавета Сергевна» или заумный фолиант, доступный лишь подготовленному читателю.

Каждый автор вольно или невольно выбирает своеобразную личную нишу для себя и своих произведений в соответствии с личными склонностями и притязаниями. Слегка переиначу хрестоматийное «о времени и о себе» — сохранить верность себе во время перемен. И процесс этот обретает принципиальную значимость, когда в обществе назревают и происходят геологические катаклизмы, перестают быть востребованными некогда облюбленные реалистическими монстрами штампы с неперемными атрибутами оптимистических плакатов гражданского звучания, за которыми скрывался весь ужас магистрального тупика человечества. В новых условиях для авторов творчество становится не только делом выживания, но и проверкой нравственных качеств, верности своему таланту. Не стоит озабочиваться всеми сложностями и тем, кто и как с ними справлялся, тем более что они имеют к героине очерка лишь косвенное отношение, вроде декораций, орнаментирующих действие. Это всего лишь контекст, из которого Вера выносит себя за скобки, обращаясь к себе, безотносительно к конъюнктуре. Я обозначаю только арену театра литературного процесса, а Вера Зубарева — прозаик и поэт, сама определила себе место в строю и траекторию личной направленности. Самобытная поэзия, синкретическая сращенность с прозой и научными изыска-

ниями обусловили ее отдельность и отдаленность от глобальных проблем современности, тем более — органическую неприемлемость смакования псевдоисторических фактов, чернухи, мистики и ужасиков, сладкожизненных любовных коллизий и всего остального, состряпанного на скорую руку в угоду непритязательному рынку и ажиотажному спросу. Отсюда и адекватная реализация в творчестве, узнаваемость «лица, необщим выраженьем» — все вместе одновременно притягивает с неотразимую силой, но не гарантирует всеобщей читательской популярности.

Произведения Зубаревой не бросаются в глаза среднестатистическому потребителю, терпеливо дожидаясь своего часа, причем не в общей очереди, что вполне объяснимо кругом облюбованных ею образов. Сразу отведу упрек в мелкотемье и ограниченности. Отстраненность от многих масштабных тем имеет значимое исключение, касающееся тягот вынужденного или полудобровольного переселенчества, их человеческого измерения и неотпускающей памяти.

Здесь и знакомство с новыми реалиями, всем тем, что укладывается в недлинное и безжалостное слово «эмиграция». Сиротство транзита через Австрию и Италию, которое скоро если не забудется, то обязательно уйдет на задний план, потесненное новыми, хоть и яркими, но преходящими впечатлениями. Это не поверхностные путевые заметки, при всем наличии формальных признаков перемещения в пространстве и вовлеченностью в калейдоскопическую круговерть тогда еще вполне благополучной Европы. Воспоминания преследуют персонажей эмигрантской серии, а с ними и читателей, переживших нечто подобное и простившихся навсегда с прежней жизнью. Таковы эмигрантская Дорога и доля, лишней раз напоминающие нам о несовершенстве мира и самих нас, в этом мире пребывающих, нашедших себе смелость сказать: «В Дорогу! — не Домом единым...» Есть ведь иная жизнь, манящая к движению вне законсервированных домашних конфликтов и вбитости в обыденную колею! А весь дорожный, эмигрантский круг — этот небольшой современный сколок с легендарного исхода — свидетельствует о безжалостной цикличности истории и маленького человека, затерянного в ней. Под пером Зубаревой оживают старая больная Сара, Нахум с Ентой, ведь им есть что вспомнить, персонажи возраста, на который придутся главные тяготы новой жизни со всеми ее перепадами: от кандидатов в люмпен-интеллигенты и до будущих успешных граждан новой страны проживания, наконец, памятный очкастый вундеркинд, маленький герой Меерович, впитавший в себя на генетическом уровне бунт и скорбь всех гонимых. Не случайно еще Франц Кафка отметил, что еврейский мальчик уже старик. Всех их единит щемящая нота прощания с прежним укладом в сочетании с неизбывными надеждами на будущее — словом, весь спектр перемен.

А что же те, которые остались, пытаясь укрыться от губельных ветров неуютности современности верностью к сложившейся рутине? Вот вам противоположный вариант жизни, другой мир по замыслу автора: на сценической площадке перед пресловутым Домом, несмотря на детскую невинность и озлобленность обитателей, видим воплощение иных, пусть не таких масштабных, но соразмерных маленькому человеку страстей, грехов и конфликтов: в меру злословят, подколдовывают, выпивают, сквернословят — все как в большом мире. Но их мир тем не менее остается компактным. Так возжелала Вера, а за автором всегда последнее слово. Хотя малоразмерность совсем не означает ничтожность изображаемого: «большое видится на расстоянии», а чтобы углядеть малых мира сего, нужны и пристальность глаза, и неутомимость руки. Не все одномерно в мире литературы.

И совсем не так прост ни этот Дом со своими обывателями, ни лишившиеся приюта в поисках иной судьбы эмигранты, коль скоро они действительно вызывают массу

ассоциаций визуального, литературного и даже трансцендентного порядка. Так, пестроте изображаемого подобрать живописный аналог ближе всего можно было бы через красочные обложки ежемесячных номеров журнала «Гостиная», редактируемых Верой Зубаревой. Само название одного цикла невольно отправляет искушенного читателя к известной повести Федора Достоевского, а другого — к «дорожной карте» в поисках себя. Архитектоника Дома, казалось бы такая незамысловатая и малоэтажная, и Дорога (к ней достаточно неблизкая ассоциация — «Степь») прямо выводят на реформатора мировой драматургии, непосредственно согласуясь с научными пристрастиями, и я уважительно оглядываю стопку литературоведческих трудов профессора Зубаревой, посвященных теории драматического. Естественно, никаких оснований для упреков в заимствовании привлечших автора архетипов, не говоря уже об адаптации классики «под себя», быть не может. Что же касается сторонней попытки объяснить любую прозу, и не только зубаревскую, то она изначально обречена на провал. Во всяком случае, я, говоря словами Евтушенко, «вновь прихожу к невозможности истолковать». На то есть множество причин. Приведу пару-тройку из них, хотя и одной вполне достаточно. Художественный текст, как и музыка, скорее воспринимаются непосредственно, нежели рассудочным порядком. Здесь как бы рокируются местами вторая и первая сигнальные системы реципиента, отмеченные еще академиком Павловым, и эмоции забирают безусловный верх над бесстрастной логикой. Не буду становиться на сальерианский путь, разрывающий живую ткань и профанирующий чувства, если неизбежным результатом его окажется исключительно эксгумация и препарирование. Мераб Мамардашвили применительно к философии высказывался о необходимости восприятия текстов не как системы записанных представлений, но следов работы самосозидания человека. В не меньшей степени данная методологическая посылка может быть отнесена и к художественным произведениям, как это сделал сам Мераб Константинович в «Психологической топологии пути» по материалам текста знаменитого прустовского романа, предварив тему сквозным посылом «Время и жизнь». Что делать пытливому читателю? Как читать? Да уж руководствуясь не примитивной теорией отражения, но трансцендентально, вживчиво, бросив все силы на прорыв, пытаюсь на пределе возможного пройти тот же путь создателя, что называется, «по живому следу за пядью пядь», стараясь, по возможности, вникнуть в текст, будто едва ли не сам оказался причастным к его созданию, одновременно разделяя судьбы героев.

А вот читателю, скользящему по странице равнодушным взглядом, стоит слегка посочувствовать: ну не дано ему узреть многокрасочной арены кукольного действия бабы Марфы, бывшей пьяницы Ольки, любопытных соседей, сложных взаимоотношений шелковичного дерева и Никифора, Наташи и Тюпы, прочих обитателей Дома или проникнуться страстями вынужденных переселенцев, в лицах и судьбах которых, возможно, и нет документированных прототипов, но за ними стоит правда жизни, а стало быть — и искусства. В результате поверхностного чтения предстанет лишь бледный театр теней, плоский и немой. Дело в том, что восприятие и распремечивание текста далеко не всегда бывает вполне адекватным содержанию, заложенному в нем, и оплачивает эту разницу именно читатель недобором художественных впечатлений. Иногда, впрочем, вину можно переложить на автора, не сумевшего пробиться к уму и сердцу читателя, но право же героиня моего пассажа не заслуживает подобного упрека.

Читая прозу Зубаревой, невозможно уловить момент, когда строчки исчезают, сменяясь зрительными образами, порою очень явственными. Конечно, не с каждой книгой происходит подобное, так что не стану выводить универсального закона на этот счет и, поставив вопрос «Почему так, а не иначе?», перепрофилирую его, оттолкнувшись от противного и совершенно в духе письма к ученому соседу: потому что иначе быть не

могло! Слишком воедино — «сроднясь в земле, сплетясь корнями» — сопряжены интересы автора: исследовательские, преподавательские, организационные и художественные, взаимно обогащаясь и подпитываясь. Счастливое сочетание! Тут же — общее замечание: зубаревский стиль настолько далек от так называемых «женских романов», что я готов охарактеризовать его парикмахерским словом «unisex», а чтобы не быть понятым превратно, отнесу к нему всю достойную литературу, за исключением окрашенной означенным суффражистским оттенком. Еще бы: вдалась в тексте заложено — что у обитателей Дома, что у бездомных переселенцев — болевых точек, органически дополненных ироническим отношением к происходящему (блага самая жизнь поставляет парадоксальный материал этого двуединства), чтобы взять на себя ответственность за однозначную каталогизацию рецензируемой книги. А почти неуловимые импульсы неожиданного оптимизма, сравнимые с эффектом пресловутого двадцать пятого кадра по воздействию на подсознание читателя, возможно, даже и без непосредственного авторского умысла — в трагических ликах одиночеств и в «больничной хронике», когда любая накладка незамедлительно и весело обыгрывается? Поневоле задашься вопросом: Муза ли с ветки нашептывает Вере, или само собою так складывается? Но таинство творчества, по определению, хранит секреты, оставаясь за кулисами текста. Наконец, изъявления благодарной памяти к Эрнсту Неизвестному, Белле Ахмадулиной, Евгению Евтушенко — это ли не весомый довод отнесения книги также и по ведомству мемуаристики? Да и так ли важно обозначить полку, на которой не залежится ее книга? Не буду переживать по этому случаю, успокоюсь сам и успокою читателей, высказавшись исключительно в плане того, *как* пишет Зубарева, а не *что*.

Классически выверенное слово Зубаревой причудливым образом сочетается с неотразимым шармом, источаемым ее поэзией. Так вырисовываются борьба и единство двух ипостасей литературы, в которой не оказывается проигравшей стороны. К сожалению, в сборнике не нашлось достаточного места для поэтической составляющей творчества автора, о ней читатель вынужден судить лишь по лаконичному стихотворному предисловию к эмигрантскому разделу и небольшим вкраплениям в тексте. Между тем, стихи могли бы смыслообразующе скрепить и резюмировать прозу. Вот, к примеру, ударная пара отрывков из стихотворного эпиграфа к циклу «Дороги эмиграции», подтверждающих этот тезис:

Посредине черной ночи
То ли падал, то ли плыл
Дом опустошенный отчий
Сквозь ладоней млечный тыл.

.....
.....

Дорога к границе — что к Господу на суд.
По таким неправдоподобным извивам
Лишь ангелы смерти преставленного несут
По его же замирающим мозговым извилинам.
Каждый чувствует себя распиленным
Или расколотым вследствие грандиозной аварии
На левое полушарие
И на правое полушарие.

Рассказы метафорически перекликаются с лучшими образцами и абсурдистского гротеска, оживляя в памяти персонажей Даниила Хармса и обэриутов, Бориса Ви-

на, Корнея Чуковского, Фазилия Искандера, Василия Аксенова, Анатолия Гаврилова до частушек-нескладушек... И что? Надо ли мериться, у кого текст пониже, а чернильная гуща пожиже? Я против сравнений, используемых в качестве универсальных отмычек-критериев, тем более злорадного выведения рейтингов по горизонтали (кто первым среди равных сказал «э», вырывая кадку с пальмой у Петра Ивановича), но предпочитаю им вертикальные связи, а больше — ассоциации. Те, что характеризуют величины не физические — над уровнем моря или ниже плинтуса, но условные, умоглядные. Подходя к текстам Зубаревой с позиций художника-реставратора, удаляющего верхний слой красок, обнаруживаю под ним смутно вырисовывающуюся матрицу чеховских художественных принципов. Вообще, чеховский аршин для Зубаревой оказался сродни базаровскому для Писарева, так же близко к сердцу принимавшего литературные свои пристрастия.

Неудивительно. Профессор Зубарева со свойственной ей циклопической основательностью взялась за Чехова всерьез и надолго, так что не ему было противиться ее буре и натиску: Антон Павлович оказал реактивное влияние на зубаревское творчество: сама Вера не скрывает, что в конце концов была загнана в угол чеховскими персонажами! И как эвристический результат тенденции — воплощение ошутимой разности потенциалов в образах дворовых персонажей, трагистический трагикомизм ситуаций, нарастающий в третьем цикле рассказов «Лик одиночества», преемственно примыкающем к предыдущим: «Дому с его обитателями» и «Дорогам эмиграции», равно к документально завершающем книгу «Памяти долгое эхо».

Дорогого стоит парадоксальная мимоходная реплика: Аннета спала крепко и обычно видела только два сна («Сволочь»); или бесконечно уместная неуместная цитата из великого сатирического романа: «Мосье, же не манж па сис жур», хотя примечание к ней внизу страницы лично мне кажется абсолютно излишним, если учесть, что фраза эта сызмала знакома почти каждому нашему соотечественнику («Волна»). Их «мини-квазидрамы» — и чеховская основа дочерчена по непредсказуемым абсурдистским лекалам высшей пробы! А самым очевидным мостком между капитальными исследованиями мифопоэтики чеховских пьес на одном берегу — и Домом со всеми его обитателями на другом явился английский полнометражный фильм Зубаревой о четырех незадачливых семействах из четырех чеховских пьес (Four Funny Families, 2003), попутно избавляющий меня от поиска необходимых аргументов, — так нагляден означенный переход. Только вот не надо искать буквалистского аналога: шелковица и абрикос (рассказ «Шелковица») отнюдь не репрезентируют «Вишневый сад», а Никифор — не пародия на доктора Астрова; из бабы Марфы (рассказ «Покойница») не выкроить ни няньки Марины, ни лакея Фирса; Оля (рассказ «Пьяница») не претендует занять место ни Маши, ни Сони, а снег, засыпающий Иону, и подавно не тот, по которому идет Тюпа (рассказ «По снегу»).

Значимые литературные ассоциации, как правило, разнесены довольно далеко друг от друга в художественном пространстве Зубаревой и работают много тоньше, чурясь прямых аналогий и грубых примеров, призывают читателя к сотворчеству и достраиванию промежуточных ступеней. Но допустимая внеэмпирическая отдаленность лимитирована как способностью читателя к пресуппозиции, так и объективно. Если ассоциативность бесконечно далека, будучи насильственно протянутой «за горизонт событий», то смысловая связь оборвется на полпути или вовсе не возникнет. Примером тому хрестоматийные метафоры: «сапоги всмятку» и «дважды два — стеариновая свечка». Непонятно? И я о том же! А вот выверенность образного строя зубаревской поэтики безупречна. Нет, далеко не каждому дано так зорко увидеть и, главное, адекватно выразить свой взгляд.

И еще один принципиальный срез, касающийся уже не Дома и Дороги, а участка, примыкающего к ним по касательной, причем не топографически, но сгущенным метафорическим строем. Взять хотя бы минималистическую зарисовку «Перевернутый фонарь», где в отражении лужи проступает ужасное одиночество в обесцвеченном безнадёжностью существовании: «Боже мой, во всем мире только я и осень!» — подумала женщина, разглядывая себя. Безысходно-щемящая тоска пронизывает весь уклад круговорота: бессонница, старость, болезнь, разлука, смерть... В этой атмосфере сгущенного трагизма выделена глубинная составляющая, которая является его системообразующей единицей — одиночеством, давшим название всему разделу.

К вящей радости читателей, книга не оставляет однообразно гнетущего впечатления, она полнится не только тенями, но и сказочным светом. Впрочем, наряду с ангельским строем, близким по духу к фейным сказкам Константина Бальмонта, здесь же благополучно сосуществуют и достаточно малоэстетичные реалии. В соседстве неотлакированно противопоставляется высокому низменное: матрешкообразное тело бабы Марфы, обряженное в несколько юбок, которые при медленном переползании от веранды к дворовому туалету поднимают вверх весь ее внутренний запах... Олька, валяющаяся в луже и выкрикивающая неприличные слова неизвестно в чей адрес... тут и разомлевшие мухи на мусорных ведрах... равно не проясненные подробности, связанные с Ирочкиными трусами, в которых она, по ее словам, оставалась до конца. Вплоть до рискованной (но раскованной!) и надиктованной самой поэтикой войны игрой словами — в воспоминаниях об Эрнсте Неизвестном («В атаку — зовут — твою мать!») — уже в четвертом заключительном разделе книги, содержание которого доселе было знакомо мне по новомировскому блогу Веры.

Разнородные наброски, беглые впечатления и эпизоды вызывают в памяти ассоциативную переключку с эпифаниями Джеймса Джойса, призывавшего регистрировать в них деликатные и мимолетные состояния души, будь то в беседе, в жесте или в ходе мыслей, достойных запоминания. Соответственно, вся суэта дорожных приключений, больничного мира или просто эпизодов частной жизни, сдобренная ненавязчивым юмором Зубаревой, позволяет прочувствовать зарождение и генезис идей, их реализацию, а естественная разница между ними представляет собой единое пространство экспликации творческих возможностей.

Образная насыщенность книги может быть передана неологическим оксюморонном — мозаическая цельность. Проза Веры чрезвычайно наглядна, красочна и точнейшим образом сбалансирована между Сциллой изобразительности и Харибдой выразительности. Пусть трагическая ее палитра страха и ужаса не нашла пока своего Эдварда Мунка, зато «Трактату об ангелах» и самому автору с иллюстрациями повезло несравненно больше. Но не буду походя комментировать страницы, посвященные встречам с необыкновенными людьми, повлиявшими на творческую судьбу Зубаревой, и перечислять знаковые имена, выступив незванным спойлером. К чему отнимать у читателей радость самочинно подобраться к заветным страницам и замереть в восхищении?!

Завершается книга небольшим рассказом «Огненное дыхание холокоста, или Чудесное спасение Элика!» — маленьким законченным шедевром, недоступным для бесслезного прочтения. Даже простой пересказ... не требуйте от меня невозможного! Отмечу лишь визуальную наглядность замкнутого ассоциативного треугольника «Элик — маленький герой Меерович («Первая скрипка») — Цви Нуссбаум, изображенный на известной фотографии из «Репорта Штропа», и констатирую, что рассказ задает высокий тон всей книге, заканчивающейся на ударной ноте!

Посему: все в Дом с его обитателями! В Дорогу! Читайте, ловите миг удачи! Ох уж эта непредсказуемость! Кем-то Вера проявит себя в следующем выходе? Не стану га-

дать. Уверен в одном: она сохранит верность себе и своей Музе, воплощая то, «для чего нас на Землю призвали». Но главный ответ за самой Верой Зубаревой в будущих произведениях, которых ее читатель ждет с объяснимым нетерпением.

Борис ЖЕРЕБЧУК

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Светлана Мосова. В поисках прошлогоднего снега. М.: Эксмо, 2018. — 352 с.: ил. — (Живая проза. Произведения современных российских писателей).

Незамысловатые истории: прихоти любви, мужчина и женщина, подводные камни семейной жизни, хорошие-нехорошие друзья и соседи. И судьбы странных, необыкновенных и обыкновенных, порой наивно простосердечных мужчин и женщин, каждый из которых — яркая индивидуальность. А за всем этим — приватная жизнь души. Неожиданны реплики, ассоциации, парадоксальны реакции героев, забавны диалоги. Вот девушка Вера страстно, безумно влюбляющаяся то в Гойко Митича, то в Джо Дас-сена, да так и не вышедшая замуж. А ее подружки, «сильно повзрослевшие девушки», уже бабушки, нашли свое счастье в браке, разглядев в своих кавалерах одна — Збиг-нева Цибульского, другая — мистера Дарси («Если б не было тебя...»). Вот Симон (что «похож на знаменитого француза, причем очень знаменитого француза. На Оноре. Оноре де. Да-да, именно»), книжный человек, безвыездно проживавший в питерской коммуналке, получил наследство и ищет спутника для поездки в Европу. Друг, автор книг о Древнем Риме, отказывается. «Ты что, билет в машину времени мне предлагаешь? — Да какая разница? — горячился Симон. — Колизей тот же! — Колизей тот же, — согласился Егор. — А письма новые: „Здесь был Жорик“». Не хочет ехать в Европу и друг-художник. «Опять? — испугался художник. — А я оттуда еле ноги унес!.. — Если ты художник, то тебе нужны впечатления, — настаивал Симон. — Если ты художник, — не сдавался сосед, — то тебе хватит и окна: вон Вермеер всю жизнь рисовал окно — и ничего, люди довольны». В конце концов неискушенного Симона обобрал ворюга, честно признавшийся в начале знакомства: «Я не Мармеладов, я только учусь». Но Симон считает, что обокрал его не лже-Мармеладов, а друзья, отказавшиеся от своей мечты («Василеостровские мечтатели»). Непредсказуемы финалы рассказов. Вот болтливая подруга рассказывает историю о чаепитиях матери какой-то Гали и подруги этой матери, тети Ани. Перескакивает на другие темы, снова возвращается к рассказу. И мелькнет фамилия тети Ани — Ахматова. И история «маленькая сама по себе, по жизни, но оказывается большой — и тоже по жизни». За малыми деталями, вроде бы незначачими разговорами проступает нечто большее, значимое. В рассказе «В поисках прошлогоднего снега и прошлогодних дураков» рассказчица-героиня размышляет после встречи с другом, которого давно не видела: «Собственно, ведь мы все так дружим: не с людьми, а с представлениями о них. Душе это удобно. Даже если эти люди и наши представления о них ходят по разным улицам. И эти представления нам дороги. Как собаке кость — попробуй, отними. Чай, укусит». Светлана Мосова может быть очень лиричной, как, например, в рассказе «В поисках прошлогоднего снега», посвященном родному городу Кишиневу, из которого она приехала в Петербург. «Петербург, новый суженый, был прекрасен — стройный, нарядный,